
СОДЕРЖАНИЕ

<i>Стефан Цвейг. Зигмунд Фрейд</i>	3
Достоевский и отцеубийство	115
Конструкции в анализе	141
Интерес к психоанализу	161
Страх и жизнь влечений (Небольшая лекция)	199
Судьба влечений	215
Печаль и меланхолия	245
Проблема дилетантского анализа или дискуссия с По- сторонним	267
Жуткое	373
Попытка анализа истерии. Дора: история болезни	415
О женственности	587
Об унижении любовной жизни	609

Стефан Цвейг

Зигмунд Фрейд

Если невидимая игра сил чувственного влечения в тусклом свете заурядных аффектов проступает затушеванно, то более наглядно и ярко она обнаруживается в состоянии неистовой страсти; тонкий наблюдатель человеческой души, который знает, в какой степени можно рассчитывать на механику обыкновенной свободы воли и до какого предела можно мыслить аналогиями, приобретет для своей науки достаточно опыта и переработает его применительно к требованиям нравственной жизни... Явись, как в иных областях знаний, новый Линней, который классифицировал бы по влечениям и склонностям, то-то бы все изумились...

ШИЛЛЕР



Состояние на грани столетий

Какой объем правды способен вынести дух, на какую долю истины он осмеливается? Для меня этот критерий все чаще и чаще становился главным в определении ценности. Заблуждение или святая вера во что-либо — не слепота, это — боязливость. Любой шаг на пути к истине, любой результат в постижении закономерности произрастают из мужества, из беспощадности и высокой нравственной требовательности к самому себе.

НИЦШЕ

Наиболее надежный критерий любой силы — то сопротивление, которое эта сила способна преодолеть. В связи с этим работа Зигмунда Фрейда будет понятна лишь в том случае, если ее рассматривать на фоне предвоенного состояния в сфере психологии, а также в тесной взаимосвязи с тогдашними взглядами, а если быть более точным, то с отсутствием какого бы то ни было взгляда на весь спектр инстинктов человека. Сегодня мысли Фрейда, которые еще двадцать лет назад почитались крамольными и богохульными, свободно обращаются в крови эпохи и языка, его чеканные формулировки кажутся сами по себе понятными; иначе говоря, понадобится больше усилий, чтобы мыслить вне их, чем мыслить ими. Нужно объяснить взгляды людей девятнадцат-

цатого столетия на вопросы психологии и потревожить останки довоенной нравственности еще и потому, что поколению двадцатого столетия никак не понять, отчего же их отцы и деды так самозабвенно сопротивлялись давно ставшему неизбежным открытию движущих сил души.

Наши молодые люди слишком дорого заплатили за тогдашнюю мораль, чтобы не презирать ее, но это еще не значит, что они отрицают необходимость и понятие морали вообще. Любая общность людей, которых связывают гражданские либо религиозные узы, в целях самоутверждения старается оградить себя от сексуальных, анархических или агрессивных порывов отдельных личностей, перекрыть им путь с помощью плотины из нравственных и моральных устоев. Со времен первобытной орды и до нынешнего века электричества каждая общность стремится подавить первобытные инстинкты с помощью своих особых методов, создает свои собственные законы. Беспощадные цивилизации прибегали к грубой силе: раскаленным железом пытались выжигать инстинкты сладострастия лакедемонская, древнеиудейская, пуританская и кальвиновская эпохи. Правда, будучи жестокими в своих запретах, эти законы, казалось, служили одной идее. При этом любая вера или идея благословляет насилие, которое творится ради них. Только ради воспитания воинственного и сильного поколения Спарта требовала железной дисциплины; если рассматривать все с точки зрения ее совершенного общества, совершенного «города», то любое желание свободолобия или проявление чувственности подрывает мощь государственной машины. В свою очередь, христианство ради спасения человеческой души и всего заблудшего человечества борется с плотскими стремлениями человека. Именно потому, что церковь психологически мудра и знает, насколько силен в чело-

веке зов плоти, она противопоставляет страстности плотской другой идеал — духовную страстность; чтобы душа нашла свою изначальную высшую родину, церковь рушит своеволие человеческой натуры, чему служат темницы и костры; такова ее логика, как она ни жестка. Из такого твердого взгляда на мир и проистекает практика морального законодательства. Таким образом, нравственность и есть та своеобразная форма, в которую облачается неосязаемая идея.

Так какого же нравственного законодательства требует само только с виду благочестивое девятнадцатое столетие и с какой целью? Разве может оно, это столетие, падкое до наживы, грубое и материалистичное, без малейшей крупички религиозной веры, которая была характерна для предыдущих веков, не соглашаться с тем, что у его граждан есть право на свободу чувственности? Разве может вмешиваться в моральные устои индивидуума тот, кто однажды провозгласил принцип «терпимости» в культурной жизни общества? В действительности и современное государство ничуть не заботится, как когда-то церковь, о подлинной нравственности своих граждан, его волнует только соблюдение внешних приличий. Таким образом, от человека никто не требует нравственного поведения в жизни, на практике — нужно соблюдать лишь видимость морали, когда каждый на глазах у других членов общества поступает так, как надо по моральным законам этого общества. А уж насколько нравственно отдельный человек ведет себя на самом деле, не так важно. В жизни отдельно взятого индивидуума разное может случиться и случается, но это не должно становиться достоянием широкой общественности. Иначе можно сказать, что мораль девятнадцатого столетия не затрагивает данную проблему по существу. Скорее, нравственность данного периода старается эту проблему обойти, избегает ее. Ес-

тественно, что, эксплуатируя весьма сомнительное суждение, якобы сокрытый или хорошо замаскированный факт как бы и не существует вовсе, современное общество уклонилось от всех сексуальных и нравственных проблем. И нынешнее положение вещей красноречивее всего описывает следующая шутка: не Кант дал направление нравственности девятнадцатого века, а «cant»*.

Только вот почему расчетливый и трезвый век запутался в дебрях такой безосновательной и нежизненной психологии? Как случилось, что эпоха самых современных технических открытий и научных достижений в своей нравственности стала столь циничной? На мой взгляд, ответ таков: она просто возгордилась своими открытиями и достижениями, излишне оптимистично относясь к возможностям цивилизации. Именно из-за головокружительных успехов науки девятнадцатое столетие впало в некое помрачение. Казалось, что все может покорить человеческий интеллект. Каждый день, каждая минута становились историческими, принося новые и новые известия о победе науки над непокорными стихиями земного пространства и времени; тайны высот и бездн постепенно раскрывались вооруженному человеческому взору; видно было, как анархия повсюду уступает место закономерному порядку, а воле расчетливого рассудка подчинялся сам хаос. В этих

* Кант, Иммануил (1724—1804) — немецкий философ, один из основателей немецкой классической философии. Автор «Критики чистого разума» (1781), «Критики практического разума» (1781), «Критики способности суждения» (1790) и др. Разрабатывал учение о «вещах в себе», которые воздействуют на наши органы чувств, и «вещах для нас», которые составляют основу познания, а также о вере в Бога как религиозной потребности, ориентированной на примирение в жизни добра и зла. С другой стороны, «Cant» в немецком означает святошество, лицемерие.

условиях земной разум и одержал победу над анархическими инстинктами, которые у человека в крови, поэтому он и смог обуздать первобытные влечения. Время от времени у нашего современника прорезаются еще эти самые инстинкты, как отзвуки отшумевшей грозы, но главная работа в этой области проделана уже давно. Пройдет еще два-три десятка лет, а может, и два-три года, и человечество, которое прошло путь от каннибализма до гуманности, навсегда освободится от своей морали. И если не привлекать внимания к отношениям полов, о них забудут. Не нужно только задаваться вопросами и вести разговоры о древнем звере, посаженном за решетку, и вы сразу же его приручите. Словом, установка на то, чтобы отворачиваться и быстрее проходить мимо всего затруднительного для понимания, делать вид, якобы ничего нет, — вот и вся мораль девятнадцатого столетия.

И здесь государство мобилизует все свои силы на борьбу с искренностью, вторгается во все сферы жизни человека. Наука и искусство, церковь, низшая школа и университет получают один приказ, следуют единой тактике: не подходить близко к противнику и ни при каких условиях не вступать в прямую полемику. Сражаться нужно, не прибегая к оружию аргументов, а лишь игнорируя и не замечая. И вот все духовные силы культуры, послушно следуя такой тактике, лицемерно обошли щекотливые проблемы. На протяжении всего века половой вопрос в Европе был под запретом. Существования его не отрицают, но и не подтверждают, его всего лишь оставляют за кулисами жизни. Чтобы лишить молодежь плотских радостей, выделяется целая армия надзирателей, облаченных в одеяния воспитателей, учителей, цензоров, пасторов и гувернанток. Ничто не должно потревожить строгую целомудренность паствы: ни разговоры и объяснения, ни малейшее дыхание чис-

того воздуха. Если прежде, в любую эпоху у любого здорового народа, и в иудейской, и в греческой, и в римской цивилизациях, зрелый подросток вступал на стезю взрослой жизни уже в тринадцать-четырнадцать лет, вступал, как на праздник — как воин среди воинов и мужчина среди мужчин, то здесь ничтожная наука о воспитании встает на его пути самым противоестественным образом. В присутствии подростка никто не говорит свободно на «скользкие» темы, ограждая и освобождая его от соответствующих знаний. Но рано или поздно он узнает все подробности от своих товарищей по уличным беседам, шепотом и на ухо. А поскольку каждый вынужден и дальше передавать эту науку шепотом, то, сам того не зная и не желая, он способствует этому культурному притворству.

И как результат этого лицемерия — скрывать и замалчивать свое «Я», — которое царило не меньше столетия, невообразимо низким стал уровень развития психологической науки на фоне достаточно высокой культуры интеллекта. Да и как же могло развиваться понимание душевных явлений без честности и искренности, откуда было взяться какой ни есть ясности на этот счет, если люди, от которых зависело, получит ли молодежь столь необходимые ей знания, — ученые и наставники, пасторы и художники — устранились от выполнения своей функции и сами стали лицемерами и невеждами. А невежество, как правило, влечет за собой жестокость. И вот на юное поколение наваливается целая рать невежественных и безжалостных из-за своей глухоты педагогов с призывами «владеть собой» и «быть нравственными», чем наносится непоправимый вред юным душам. Мальчишки-подростки, которые под тяжестью своеобразного полового воспитания знают один-единственный способ удовлетворения своих инстинктов, получают от этих мудрых воспитателей ис-

черпывающие сведения о том, что они подвластны разрушительному для их здоровья действию порока. Им искусственно закладывается в сознание чувство вины и неполноценности. А в университетах студенты (я и сам еще пережил такое) из памятных записок от той категории преподавателей, которых называли «прирожденными педагогами», узнают, что все половые заболевания «неизлечимы». И вот таким способом тогдашняя нравственность калечит юные души. Таким железным сапогом педагогическая этика проходится по душевному миру молодого человека. И нет ничего удивительного в том, что в хрупкой душе подростка, воспитанного в постоянном страхе, каждую секунду палит револьвер, что неимоверное количество людей испытывает колебания внутреннего равновесия, создается целая армия психически неуравновешенных людей—неврастеников, за которыми всю жизнь тянутся эти юношеские страхи. И затем тысячи таких пришибленных лживой моралью бродят от врача к врачу в поисках помощи. А поскольку медицина в те времена, будучи отлученной от сфер полового воспитания, еще не могла нащупать болезнь в ее зачаточном состоянии и психология как наука еще не могла проникнуть в столь тщательно замалчиваемые области, то и врачи-неврологи не могут справиться с такими пограничными состояниями. С чувством стыда они вынуждены спроваживать этих несчастных в различные водогазозлечебницы как еще не готовых для сумасшедшего дома или клиники. Этим бедолаг потчуют бромом, воздействуют на кожу электровибрацией, но никто и не пытается отыскать истинные причины их болезни.

А людей с ненормальными предрасположенностями это непонимание ранит еще больше. Идентифицированные наукой как морально неполноценные и обремененные тяжелой наследственностью, а государством почи-

таемые преступниками, они всю жизнь вынуждены скрывать свою тайну под постоянной угрозой тюрьмы или вымогательства. И никто не даст им совета, не поможет. Ибо, если бы в дофрейдовские времена кто-либо, испытывающий предрасположенность к гомосексуализму, пришел к тогдашнему медицинскому советнику, то господин врач несомненно возмутился бы: как это к нему лезут с таким «свинством». Такая интимность не для кабинета врача. А для кого она подходит? Куда идти человеку с расстройством мироощущения, человеку, сбившемуся с пути? В какую дверь стучаться миллионам ищущих облегчения и помощи людей? Судьи прячутся за статьи законов, университеты самоустраняются от этой проблемы, философы (исключение составляет один Шопенгауэр) и вовсе предпочитают не замечать, что в их благоустроенном мире существуют те или иные эротические ненормальности, которые, однако, понимались и находили себе оправдание в прошлых культурах, а общественность предпочитает закрывать глаза и не замечать всего деликатного. Но при этом ни в газетах, ни в литературе не происходит никаких обсуждений: полицейские в курсе, а больше ничего не надо. Высоконравственному и высокотерпимому веку будто и невдомек, что в атмосфере этого замалчивания задыхается бесчисленное множество людей, важно только, чтобы не пострадал этот ореол святости, который с таким усердием создавался этой самой моральной из всех культур. Поскольку создать видимость нравственности гораздо важнее для этой эпохи, чем понять сущность существования человека.

В итоге угрожающе долго, целый век, Европа несет на себе этот крест замалчивания. Но в некий прекрасный момент один-единственный голос нарушил это грубое молчание. Один молодой врач, отнюдь не помышляющий о каком-либо перевороте, в кругу коллег на

основе собственных исследований заводит разговор о причинах истерии, о ступорных расстройствах наших инстинктов и путях их высвобождения. Он не прибегает к страстной жестикуляции, не говорит взволнованно о том, что пришло-де время совершенно свободно обсуждать вопросы пола, совсем нет, — он как деловой человек и молодой врач не пытается предстать носителем новой культуры в этом окружении, свято чтящем традиции. В своем выступлении он затрагивает только диагностику психозов и их причины. И, с уверенностью заявляя, что почти все неврозы происходят из подавленных сексуальных влечений, вызывает у своих товарищей по работе невообразимый ужас. Нет, дело не в том, что его коллеги сочли эти утверждения ложными, как раз наоборот: все они или же почти все сами уже догадывались об этом; как частные лица все они ясно осознают важность половой сферы для общей структуры организма человека. Но, будучи связаны моралью той эпохи, в которой живут, они почувствовали себя обиженными столь откровенным указанием на очевидный факт, усмотрели в нем выпад в их адрес сродни неприличному жесту. Они смущены и переглядываются между собой, недоумевая: неужели этому молодому человеку не известно, что такие темы находятся под запретом и всячески должны замалчиваться, а не высказываться вслух, тем более на собрании таких почтенных людей, как «Общество врачей»? Новичок должен был знать и соблюдать эти давно установленные правила; коллеги могут только перемигиваться, затрагивая столь щекотливую тему, ее можно касаться за карточным столом, но чтобы говорить о ней в столь культурном девятнадцатом столетии перед таким обществом — это уж слишком. Описанная мною сцена имела место в жизни, и, как видно, первое официальное выступление Зигмунда Фрейда в кругу товарищей по факультету было похоже

на пушечный выстрел в церкви. И те из его коллег, кто наиболее доброжелательно относился к нему, сочли нужным напомнить молодому доценту, что с его стороны было бы намного осмотрительнее, если бы он впредь, дабы не ломать свою академическую карьеру, остерегался выступать на столь щекотливые темы, не говоря о том, что следует вообще избегать исследований такого рода. Поскольку все равно это ни к чему ни приведет, тем более ни к чему такому, что стало бы предметом широкого обсуждения.

Но мы-то знаем, что не благопристойность заботит Фрейда, а истина. И уж если он обнаружил что-нибудь, то будет идти в своих поисках до конца. И недовольство, которое вызвали его высказывания, лишь указывает на то, что он нащупал-таки больное место, обнаружил, где лежит узел всей проблемы. Он держит все крепкой хваткой. Ни великодушно-доброжелательным старшим коллегам, предостерегающим его, ни униженной нравственности, которая не привыкла, чтобы ее касались так грубо, не удалось запугать молодого врача.

Он давит на больное место все сильнее и сильнее с негибаемой храбростью, со свойственной только ему интуитивной силой до той поры, пока не вскрывается гнойник молчания и под ним не обнаруживается зияющая рана: теперь ее можно начать лечить. Продвигаясь и дальше в эту область неизведанного, наш молодой доктор и не подозревает, сколько открытий ждет его впереди. Он разве что чувствует глубину, которая всегда магнитом притягивает творческих людей.

Тот факт, что первая же публичная встреча Фрейда с современниками обернулась своеобразной стычкой без особого на то повода, отнюдь не случайность — он весьма символичен. Ибо здесь не просто пострадали оскорбленная стыдливость и ставшая привычкой нравственная гордыня: дело в том, что изживший себя метод

умалчивания с присущей ему провидческой хваткой ощутил в молодом враче опасного врага. И причиной войны не на жизнь, а на смерть стало то, что Фрейд вообще коснулся запрещенной темы, а не то, как он это сделал. Потому что с первой секунды речь ведется не об уточнении некоего курса, а о полной смене направленности. Не о частных, а о главных законах. Не об отдельных проявлениях, а о целом. Между собой сталкиваются два совершенно противоположных метода, два закона познания мира, и они столь разительно отличаются, что вряд ли возможно хоть какое-либо понимание между ними. Дофрейдовская, я назову ее старой, психология, которая проповедовала первичность мозга над кровью, заставляет каждого отдельно взятого, каждого образованного человека разумом угнетать свои инстинкты. На что Фрейд неделикатно отвечает, что инстинкты никому не дадут подавить себя и что совершенно не правы те, кто утверждает, что через насилие можно избавиться от них. Единственный выход — это вытеснить инстинкты из сознания в подсознание. Но тогда, оттесненные, они скапливаются в области подсознания и в результате непрерывного брожения вызывают болезни, расстройства, тревогу. Напрочь лишенный иллюзий и веры в прогресс, придерживающийся крайних взглядов в своих суждениях, Фрейд непоколебимо устанавливает, что, как бы нравственность ни обходила наличие бессознательного сексуального влечения, оно является неотъемлемой принадлежностью человека, которая заново рождается с появлением на свет нового индивида, что это влечение есть такая неорганизованная сила, которую никак нельзя свести к нулю, единственное, что можно с нею сделать, — это переключить на менее опасную работу путем перенесения ее в сознание. Иными словами, Фрейд рассматривает как благо процесс осознания, который мораль старого общества

считала крайне опасным, и наоборот, то, что это общество называло полезным, а именно — подавление инстинктов, Фрейд считает крайне вредным. Он пытается раскрыть секреты, которые тщательно маскировались и держались втуне. Вместо игнорирования требует идентификации. Прямого пути вместо обхода. Глубокой искренности вместо прятанья глаз. Обнажения проблемы вместо ее вуалирования. Только тот, кто познал инстинкты, сможет их укротить; одолеть демонов сможет только тот, кто вытащит их из логова и мужественно посмотрит им в глаза. Медицину мало волнуют вопросы стыдливости и нравственности, ее главнейшая цель — принудить заговорить то загадочное, что есть в человеке, а не замалчивать его. Нисколько не заботясь о том, чтобы в духе девятнадцатого века сокрыть все деликатное, Фрейд достаточно жестко ставит перед современниками вопросы глубинного самопознания. Так он начинает врачевать не только огромное число конкретных людей, но и весь нравственно больной век — методом выявления его главного конфликта, который беспрестанно подавлялся, и перевода его из сферы лицемерной морали в сферу науки.

Столь новый, отвечающий на запросы жизни метод Фрейда, помимо того что заставил по-иному взглянуть на психику отдельно взятого человека, показал также существование иного пути в осмыслении главных направлений развития культуры. В связи с этим тот, кто смотрит на происшедшее с позиции 1890-го года и достижения Фрейда считает лишь узкотерапевтической заслугой, просто не может заглянуть в глубину явления и по достоинству оценить его, ибо в этом случае он осознанно или нет путает результат работы и исходное состояние. Конечно, для истории чрезвычайно важно, что Фрейд, как в Китайской стене, проделал дыру в старой психологии со стороны медицины, но это не